



ЭРИХ МАРИЯ
РЕМАРК



ЭРИХ МАРИЯ
РЕМАРК



Черный обелиск



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.112.2-31

ББК 84 (4Гем)-44

P37

Серия «Зарубежная классика»

Erich Maria Remarque
DER SCHWARZE OBELISK

Перевод с немецкого В. Станевич

Серийное оформление А. Кудрявцева

Печатается с разрешения

The Estate of the Late Paulette Remarque и литературных агентств Mohrbooks AG Literary Agency и Synopsis.

Подписано в печать 05.03.18. Формат 70х90 ¹/₃₂.

Усл. печ. л. 17,4. Доп. тираж

экз. Заказ №

Ремарк, Эрех Мария.

P37 Черный обелиск : [роман] / Эрех Мария Ремарк; [пер. с нем. В. Станевич.] — Москва: Издательство АСТ, 2018. — 477, [3] с. — (Зарубежная классика).

ISBN 978-5-17-070849-9

Их называли «потерянным поколением». И они действительно потеряли все — или почти все?

Что же у них осталось? Верная дружба — и спасительная ирония. Потому что иначе невозможно ни выжить в «стране, охваченной кризисом», ни выстоять перед «житейски-алкогольно-любковыми трудностями» — ни, наконец, выгодно продать никому не нужный надгробный черный обелиск!..

УДК 821.112.2-31

ББК 84 (4Гем)-44

© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1956

© Перевод. В. Станевич, наследники, 2010

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

I

Солнце заливает светом контору фирмы по установке надгробий «Генрих Кроль и сыновья». Сейчас апрель 1923 года, и дела идут хорошо. Весна не подкачала, мы торгуем блестяще, распродаем себе в убыток, но что поделаешь — смерть немилосердна, от нее не ускользнешь, однако человеческое горе никак не может обойтись без памятников из песчаника или мрамора, а при повышенном чувстве долга или соответствующем наследстве — даже из отполированного со всех сторон черного шведского гранита. Осень и весна — самый выгодный сезон для торговцев похоронными принадлежностями: людей умирает больше, чем летом и зимой; осенью — потому, что силы человека иссякают, весной — потому, что они пробуждаются и пожирают ослабевший организм, как слишком толстый фитиль тощую свечу. Так по крайней мере уверяет самый усердный из наших агентов, могильщик Либерман с городского кладбища, а уж ему ли не знать: старику восемьдесят лет, он предал земле свыше десяти тысяч трупов, на комиссионные по установке надгробий обзавелся собственным домом на берегу реки, садом, прудом с форелью; профессия могильщика сделала его философствующим пьяницей. Единственное, что он ненавидит, — это городской крематорий. Крематорий — нечестный конку-

рент. Мы тоже его недолюбливаем: на урнах ничего не заработаешь.

Я смотрю на часы. Скоро полдень, и, так как сегодня суббота, я заканчиваю свой трудовой день. Нахлобучиваю жестяной колпак на машинку, уношу за занавеску аппарат «Престо», на котором мы размножаем каталоги, убираю образцы камней и вынимаю из фиксажа фотоснимки с памятников павшим воинам и с художественных надгробных украшений. Я бухгалтер фирмы, художник, заведующий рекламой и вообще вот уже целый год состою единственным служащим нашей конторы, хотя я отнюдь не специалист.

Предвкушая наслаждение, достаю из ящика стола сигару. Это черная бразильская. Представитель Вюртембергского завода металлических изделий утром угостил меня этой сигарой, а потом попытался навязать мне партию бронзовых венков. Следовательно, сигара хорошая. Я ишу спички, но, как обычно, коробок куда-то засунули. К счастью, в печке есть еще жар. Я скатываю трубочкой бумажку в десять марок, подношу ее к углям и от нее закуриваю сигару. Топить печку в апреле, пожалуй, уже незачем; это одно из коммерческих изобретений моего работодателя Георга Кроля. Ему кажется, что когда люди скорбят и им еще приходится выкладывать деньги, то легче это сделать в теплой комнате, чем в холодной. Ведь от печали и без того знобит душу, а если к тому же у людей ноги стынут, трудно бывает выжать хорошую цену. В тепле все оттаивает — даже кошелек. Поэтому в нашей конторе всегда жарко натоплено, а нашим агентам рекомендуется зарубить себе на носу: никогда не пытаться заключать сделки в дождь и в холод на кладбище — только в теплой комнате и по возможности после обеда. При таких сделках скорбь, холод и голод — плохие советчики.

Я бросаю обгоревшую десятимарковую бумажку в печку и встаю. И тут же слышу, как в доме напротив распахивают окно. Мне незачем смот-

реть туда, я отлично знаю, что там происходит. Осторожно наклоняюсь над столом, словно еще вожусь с пищущей машинкой. При этом искоса заглядываю в ручное зеркальце, которое пристроил так, чтобы в нем отражалось упомянутое окно. Как обычно, Лиза, жена мясника Вацека, стоит там в чем мать родила, зевает и потягивается. Она только сейчас поднялась с постели. Наша уличка старинная, узкая, Лизу нам отлично видно, а ей — нас, и она это знает. Потому и становится перед окном. Вдруг ее большой рот растягивается в улыбку, сверкая зубами, она раздражается хохотом и указывает на мое зеркальце. Ее зоркие глаза хищной птицы заметили его. Я злюсь, что пойман с поличным, но делаю вид, будто ничего не замечаю, и, окружив себя облаком дыма, отхожу в глубь комнаты. Лиза усмехается. Я выглядываю в окно, но не смотрю на нее, а притворяюсь, будто киваю кому-то идущему по улице. В довершение посылаю ему воздушный поцелуй. Лиза попадает на эту удочку. Она высовывается из окна, чтобы посмотреть, с кем же это я здороваюсь. Но никого нет. Теперь усмехаюсь я. А она сердито стучит себя пальцем по лбу и исчезает.

Собственно говоря, не известно, зачем я разыгрываю всю эту комедию. Лиза, что называется, «роскошная женщина», и я знаю многих, кто охотно платил бы по несколько миллионов за то, чтобы наслаждаться каждое утро подобным зрелищем. Я тоже наслаждаюсь, но все же меня злит, что эта ленивая жаба, вылезая из постели только в полдень, так бесстыдно уверена в своих чарах. Ей и в голову не приходит, что не всякий сию же минуту возжаждет переспать с ней. Притом ей, в сущности, это довольно безразлично. Лиза продолжает стоять у окна, у нее черная челка, подстриженная, как у пони, дерзко вздернутый нос, и она поводит грудями, словно изваянными из первоклассного каррарского мрамора, точно какая-нибудь тетка, помахивающая погремушками перед младенцем. Будь у нее вме-

сто груди два воздушных шара, она так же весело выставила бы их напоказ. Но Лиза голая, и поэтому она представляет не шары, а груди, ей все равно. Просто-напросто она радуется, что живет на свете и что все мужчины непременно должны сходить по ней с ума. Затем она об этом забывает и набрасывается прожорливым ртом на завтрак. А тем временем мясник Вацек устало приказывает несколько старых извозчицких кляч.

Лиза появляется снова. Она налепила себе усы и в восторге от столь блистательной выдумки. Она по-военному отдает честь, и я готов допустить, что ее бесстыдство предназначается старику Кнопфу, фельдфебелю в отставке, проживающему поблизости, но потом вспоминаю, что в спальне Кнопфа только одно окно и оно выходит во двор. А Лиза достаточно хитра и понимает, что из соседних домов ее не видно.

Вдруг, словно где-то прорвав плотину тишины, зазвонили колокола церкви Девы Марии. Церковь стоит в конце улочки, и звуки так оглушают, точно валятся с неба прямо в комнату. В то же время я вижу, как мимо второго окна нашей конторы, выходящего во двор, проплывает, словно фантастическая дыня, лысая голова моего работодателя. Лиза делает неприличный жест и захлопывает свое окно. Ежедневное искушение святого Антония еще раз преодолено.

Георгу Кролю ровно сорок лет, но его лысая голова уже блестит, точно шар на кегельбане в саду пивной Боля. Она блестит с тех пор, как я его знаю, а познакомился я с ним пять лет назад. Лысина эта так блестит, что, когда мы сидели в окопах — а мы были в одном полку, — командир отдал особый приказ, чтобы Георг, даже при полном затишье на фронте, не снимал каски, ибо слишком силен был соблазн для самого благодушного противника проверить с помощью выстрела, не огромный ли это бильярдный шар.

— Главный штаб фирмы «Кроль и сыновья»! Пункт наблюдения за действиями врага. В районе мясника Вацекка подозрительное передвижение войск.

— Ага, — отвечает Георг. — Лиза делает утреннюю зарядку. Вольно, ефрейтор Бодмер! Почему не надеваете по утрам шоры, как у лошади в кавалерийском оркестре, и не оберегаете таким способом свою добродетель? Разве вы не знаете, каковы три самые большие драгоценности нашей жизни?

— Откуда же я могу знать, господин обер-прокурор, если я и самой жизни-то не видел?

— Добродетель, юность и наивность! — безапелляционно заявляет Георг. — Если их утратишь, то уж безвозвратно! А что на свете безнадежнее многоопытности, старости и холодного рассудка?

— Бедность, болезнь и одиночество, — отзываюсь я и становлюсь вольно.

— Это только другие названия для опыта, старости и заблуждений ума.

Георг вынимает у меня изо рта сигару, мгновение смотрит на нее и определяет, как опытный коллекционер бабочку:

— Добыча взята на фабрике металлических изделий.

Он извлекает из кармана чудесно осмугленный дымом золотисто-коричневый мундштук из морской пенки, вставляет в него мою бразильскую сигару и продолжает ее курить.

— Ничего не имею против конфискации сигары, — заявляю я. — Хотя это грубое насилие, но ты, как бывший унтер-офицер, ничего другого в жизни не знаешь. Все же зачем тебе мундштук? Я не сифилитик.

— А я не гомосексуалист.

— Георг, — продолжаю я, — на войне ты моей ложкой бобовый суп хлебал, когда мне удавалось выкрасть его из кухни. А ложку я прятал за голенище грязного сапога и никогда не мыл.

Георг смотрит на пепел сигары. Пепел бел как снег.

— После войны прошло четыре с половиной года, — наставительно отвечает он. — Тогда безмерное несчастье сделало нас людьми. А теперь бесстыдная погоня за собственностью снова превратила в разбойников. Чтобы это замаскировать, нам опять нужен лак хороших манер. Ergo!* Нет ли у тебя еще одной сигары? Эта фабрика никогда не позволит себе подкупать служащих одной сигарой.

Я вынимаю из ящика стола вторую сигару и отдаю ему.

— Ум, опытность и старость все же иногда идут на пользу, — замечаю я.

Он усмехается и вручает мне взамен сигар пачку сигарет, в которой недостает шести штук.

— А что произошло еще? — осведомляется он.

— Ничего. Клиентов не было. Но я вынужден настоятельно просить о повышении моего оклада.

— Опять? Ведь тебе только вчера повысили!

— Не вчера. Сегодня утром в девять часов. Какие-то несчастные восемь тысяч марок! И все-таки в девять утра это было еще кое-что. А потом объявили новый курс доллара, и я теперь уже не могу на них купить даже галстук, только бутылку дешевого вина. А мне необходим именно галстук.

— Сколько же стоит доллар сейчас?

— Сегодня в полдень он стоил тридцать шесть тысяч марок! А утром всего тридцать тысяч!

Георг Кроль рассматривает свою сигару.

— Уже тридцать шесть тысяч! Дело идет быстрее кошачьего романа! Чем все это кончится?

— Всеобщим банкротством, господин фельдмаршал, — отвечаю я. — А пока надо жить. Ты денег принес?

— Только маленький чемоданчик с запасом на сегодня и завтра. Тысячные и стотысячные билеты и даже несколько пачек с милыми старыми сотенными. Около двух с половиной кило бумажных денег. Инфляция растёт такими темпами, что государственный банк не успевает печатать денежные знаки. Новые банкноты в сто тысяч выпущены всего две недели назад, а теперь скоро выпустят бумажки в миллион. Когда мы будем считать на миллиарды?

— Если так пойдет дальше, то всего через несколько месяцев.

— Боже мой! — вздыхает Георг. — Где прекрасные спокойные дни 1922 года? Доллар поднялся в тот год с двухсот пятидесяти марок всего до десяти тысяч. Уже не говоря о 1921-м — тогда это были какие-то несчастные триста процентов.

Я выглядываю на улицу. Лиза стоит у окна, теперь она в шелковом халате, на котором изображены попугаи. Зеркало она повесила на шпингалет и приглаживает щеткой свою гриву.

— Взгляни на это создание, — с горечью восклицаю я. — Оно не сеет, не жнет, но отец небесный все же питает его. Вчера у нее этого халата еще не было. Шелк! Несколько метров! А я не могу наскрести какие-то жалкие гроши на один несчастный галстук.

Георг улыбается.

— Что ж, ты скромная жертва эпохи. А Лиза на всех парусах плывет по волнам немецкой инфляции. Она — прекрасная Елена спекулянтов. На продаже могильных камней не разживешься, сын мой. Почему ты не перейдешь на сельди или на торговлю акциями, как твой дружок Вилли?

— Оттого что я сентиментальный философ и сохраняю верность надгробиям. Ну так как насчет повышения жалованья? Ведь и философам все же приходится одеваться.

— Неужели ты не можешь купить галстук завтра?
— Завтра воскресенье. И он мне нужен именно завтра.
Георг приносит из прихожей свой чемодан. Открыв его, бросает мне две пачки денег.

— Хватит?

Я вижу, что в них главным образом сотни.

— Добавь еще полкило этих обоев, — говорю я. — Здесь самое большее пять тысяч. Спекулянты-католики по воскресеньям, во время обедни, кладут столько на тарелочку да еще стыдятся своей скупости.

Георг скребет себе голый затылок — атавистический жест, утративший в данном случае всякий смысл. Затем дает мне третью пачку.

— Слава Богу, что завтра воскресенье, — говорит он. — Никакого нового курса на доллар не будет. Единственный день недели, когда инфляция приостанавливается. Конечно, Господь Бог не это имел в виду, создавая воскресенье.

— А как мы? — осведомился я. — Уже банкроты или наши дела идут блестяще?

Георг делает длинную затяжку из своего мундштука:

— Мне кажется, никто сейчас в Германии ничего на этот счет о себе уже сказать не может. Даже божественный Стиннес. Скопидомы разорены. Рабочие и люди, живущие на жалованье, — тоже. Большинство мелких коммерсантов — тоже, хотя они об этом еще не догадываются. Блестяще наживаются только те, у кого есть векселя, акции или крупные реальные ценности. Следовательно, не мы. Ну как? Уразумел?

— Реальные ценности! — Я смотрю в сад, где стоит наша продукция. — У нас в самом деле не бог весть что осталось. Главным образом надгробия из песчаника и чугуна. Но мрамора и гранита маловато. А то немного, что есть, твой брат распродаст с убытком.

12 Может быть, самое лучшее совсем ничего не продавать, а?

Георгу незачем отвечать. На улице звенит велосипедный звонок. Слышны шаги, кто-то поднимается по дряхлым ступенькам. По-хозяйски откашливается. Это Генрих Кроль-младший, совладелец фирмы — виновник наших постоянных забот и тревожений.

Генрих — невысокий, плотный мужчина с соломенного цвета усами; на нем полосатые пропыленные брюки, стянутые у щиколотки велосипедными зажимами. Он окидывает меня и Георга быстрым неодобрительным взглядом. В его представлении мы — ленивые жеребцы, весь день лодырничая, а вот он — человек дела, поддерживающий внешние связи фирмы, к тому же несокрушимого здоровья. Ежедневно, едва рассветет, Кроль-младший отправляется на вокзал и потом мчит на велосипеде в самые отдаленные деревни, если наши агенты — могильщики или учителя сельских школ — заявят о чьей-либо смерти. Он довольно обходителен, а его дородность вызывает к нему доверие; поэтому он с помощью двух кружек пива, неизменно вкушаемых утром и под вечер, поддерживает себя на должном уровне. Крестьяне предпочитают низеньких толстяков изголодавшимся верзилам. И костюм у него соответствующий. Он не носит ни черного сюртука, как его конкурент — агент Штейнмейера, ни синего костюма, как разъездные агенты фирмы «Хольман и Клотц», — сюртук слишком напоминает о трауре, синюю пару все носят. Генрих Кроль обычно появляется в выходном костюме — полосатые брюки, черно-серый пиджак, старомодный стоячий воротничок с уголками и галстук матовых колеров, с преобладанием черного. Два года назад, именно когда он заказывал этот костюм, у него возникло минутное колебание и он задал себе вопрос — не уместнее ли будет визитка, но тут же отверг эту мысль, ибо был слишком мал ростом. Такой отказ он считал для себя даже лестным; ведь и Наполеон был бы смешон, надень

он фрак. А в этой одежде Генрих Кроль поистине выглядит скромным уполномоченным Господа Бога — как оно и должно быть. Велосипедные зажимы придают его облику что-то домашнее и вместе с тем спортивное: в наш век автомобилей кажется, что у таких людей можно купить дешевле.

Генрих снимает шляпу и вытирает лоб платком. На улице довольно прохладно, и он отнюдь не вспотел: он делает это, только желая подчеркнуть, что вот он — чернорабочий, обремененный тяжелым трудом, мы же — канцелярские крысы.

— А я наш мраморный крест продал, — заявляет он с притворной скромностью, за которой чувствуется безмолвный рев торжества.

— Какой? Тот маленький? — осведомляюсь я тоном, полным надежды.

— Нет, большой, — отвечает Генрих с еще большей скромностью и смотрит на меня в упор.

— Что? Большой крест из шведского гранита с двойным поколем и бронзовыми цепями?

— Вот именно. А разве у нас есть еще другие?

Генрих наслаждается своим глупым вопросом, он считает его вершиной саркастического юмора.

— Нет, — отвечаю я. — Других у нас уже нет. В том-то и беда! Этот был последним. Гибралтарская скала.

— За сколько же ты продал? — осведомляется Георг Кроль.

Генрих потягивается.

— За три четверти миллиона, без надписи, без доставки и без ограды. Это все — дополнительно.

— Господи! — восклицаем мы с Георгом одновременно.

Генрих смотрит на нас вызывающе — у дохлой пикши бывает иногда такое выражение.

— Да, бой был нелегким, — говорит он и по-

— Лучше бы вы проиграли его, — отвечаю я.

— Что?

— Програли бы этот бой.

— Что? — сердито повторяет Генрих. Я легко вызываю его раздражение.

— Он жалеет, что ты продал крест, — поясняет Георг Кроль.

— Жалеет? Как прикажешь это понимать? Черт бы вас побрал! Мотаешься с утра до ночи, продаешь блестяще, и тебя же в этой лавчонке еще встречают упреками! Поездите-ка сами по деревням и попробуйте...

— Генрих, — кротко прерывает его Георг. — Мы же знаем, что ты из кожи вон лезешь, но мы живем сейчас в такое время, когда продажи разоряют. В стране уже давно инфляция. С тех пор как кончилась война. Но в этом году инфляция усиливается и развивается как скоротечная чахотка. Поэтому цифры уже не имеют никакого значения.

— Это я и без тебя знаю. Я же не идиот.

Ни один из нас не возражает. Только идиоты утверждают, что они не идиоты. Противоречить им бесполезно. Я знаю это на основании тех воскресений, которые провожу в лечебнице для душевнобольных. Генрих вытаскивает из кармана записную книжку.

— При покупке памятник с крестом обошелся нам в пятьдесят тысяч. А продали мы его за три четверти миллиона — кажется, прибыль неплохая.

Он снова барахтается в мелководье тупых сарказмов. Генрих считает, что должен воспользоваться случаем и поддеть меня — ведь я когда-то был школьным учителем. Вскоре после войны я в течение девяти месяцев учил ребят в глухой степной деревне, пока не бежал оттуда, преследуемый по пятам воющим псом зимнего одиночества.

— Еще выгоднее было бы, если бы вы вместо нашего великолепного креста продали вон тот чертов обелиск, который торчит перед окном, — гово-